

ПРИМЕЧАНИЕ

Предшествующие рассуждения о «свободной человеческой критике», точно так же, как и все другое относящееся к произведениям в этом духе, было мною написано в виде отрывков непосредственно после появления соответствующих книг, и здесь я только соединил эти отрывки воедино. Критика, однако, идет неудержимо вперед и заставляет меня, после того как моя книга уже написана, вновь вернуться к ней и вставить это заключительное примечание.

Передо мной последний — восьмой номер «Всеобщей литературной газеты» (Allgemeine Literatur Zeitung) Бруно Бауэра.

На первых же строчках опять встречаются «общие интересы общества». Однако же критика несколько одумалась и дала этому «обществу» определение, сильно отличающееся от его прежних смешиваемых с ним форм: «государство», прославляемое в предыдущих статьях как «свободное государство», совершенно упраздняется, ибо не может никоим образом выполнить задачи «человеческого общества». Только в 1842 году критика была «вынуждена отождествить человеческую сущность с сущностью политической», а теперь она пришла к тому убеждению, что государство, даже как «свободное государство», не является человеческим обществом, или, как она смело могла бы вместо этого сказать, народ — не «человек». Мы видели, как критика покончила с теологией и как она доказала, что Бог сокрушен человеком, точно так же и таким же методом она хочет покончить теперь и с политикой и стремится показать, что и народы, и нации падают перед человеком. Мы видели, как она расправляется с церковью и государством, объявляя их нечеловеческими, и мы еще увидим, ибо уже встречаются намеки и попытки в этом смысле, что она постарается доказать, что и «масса», которую ведь сама критика называет «духовным существом», не имеет никакой цены перед человеком. Как смеют существовать различные мелкие «духовные сущности» наряду с высшим духом! «Человек» свергает с пьедестала лживых кумиров. Критика, следовательно, намеревается теперь начать рассмотрение «массы» с точки зрения «человека» и с этой точки зрения бороться с ней. «Каков же теперь объект критики?» - «Масса как духовная сущность!» Эту массу «изучит» теперь критик, чтобы найти, что она находится в противоречии с человеком; он постарается доказать, что она нечеловечна, и это ему удастся, как и раньше, когда ему нужно было свести божественное и национальное или церковное и государственное к нечеловечному.

Масса определяется теперь как «самый значительный продукт Великой французской революции, как обманутая толпа, вынесшая на себе всю тяжесть разочарования в иллюзиях политического просвещения, вообще просвещения восемнадцатого столетия». Революция удовлетворила своими результатами одних, оставив других неудовлетворенными; удовлетворенная часть — буржуазия (мещанство, филистерство и т. д.), неудовлетворенная — масса. Но, с этой точки зрения, не принадлежит ли сам критик «массе»?

Неудовлетворенные, однако, находятся в еще большей неясности относительно собственного положения, и эта неудовлетворенность выражается сначала в «безграничном унынии». Критик, также неудовлетворенный, хочет побороть это уныние: большего он не может желать и большего не может достигнуть, чем вывести эту «духовную сущность» — массу, из ее уныния, то есть определить их истинное отношение к результатам революции, которые нужно преодолеть: он может стать главою массы, ее истинным защитником и выразителем ее интересов. Поэтому он и хочет «уничтожить ту глубокую пропасть, которая отделяет его от толпы». От тех же, которые «хотят поднять низшие классы населения», он отличается тем, что хочет освободить от «уныния» не только их, но и самого себя.

Но, конечно, инстинкт не обманывает его, когда он считает эту массу «естественным врагом теорий» и предвидит, что «чем более будет развиваться теория, тем более компактной будет становиться масса». Ибо критик не может ни просветить, ни удовлетворить массу своей предпосылкой — человеком. Если она (масса) — только «низший класс», политически незначительный по сравнению с буржуазией, то по сравнению с «человеком» она должна быть еще более просто массой, в человеческом смысле не имеющей значения, даже просто нечеловечной массой, или толпой, противоположной человеку, — толпой нелюдей.

Критик отрицает все человеческое: исходя из гипотезы, что человеческое — истинное, он обращает эту гипотезу против самого себя, оспаривая его присутствие всюду, где оно находилось до сих пор. Он доказывает только, что человеческое существует исключительно в его голове, нечеловеческое же повсюду. Нечеловеческое — это истинное, всюду находящееся, и критик выражает тем доказательством, что оно, «нечеловеческое», только тавтологическое положение, что нечеловеческое именно и есть нечеловеческое.

Но что, если нечеловеческое, решительным образом повернувшееся к самому себе спиной, отвернется и от критика, ничуть не задетое его возражениями? «Ты называешь меня нечеловеческим, — может оно ему сказать, — я действительно таковое — для тебя, но я — нечеловеческое только потому, что ты противопоставляешь меня человеческому, и я бы презирало себя, если бы оставалось в цепях этого противоречия. Я было презренно, ибо искало мое «лучшее я» вне меня; я было нечеловеческим, ибо грезило о «человеческом»; я было подобно благочестивому, который жаждет найти свое истинное «я» и остается жалким «грешником»; я мыслило себя только по сравнению с чем-либо другим — одним словом, я не было все во всем, не было единственным. Теперь, однако, я перестаю считать себя самое нечеловеческим, я не желаю более считать своим критерием «человека», я ничего не желаю признавать над собой, ибо это значит — признавать над собою Бога! Слышишь ли ты это, гуманный критик? Я было нечеловеческим, но этого уже нет теперь, теперь я — единственное и, к ужасу твоему, — эгоистическое, но это не эгоистическое по сравнению с человеческим, гуманным и бескорыстным, это — эгоистическое, как — единственное».

Нужно обратить внимание на другую фразу в том же номере. «Критика не выставляет никаких догматических положений и хочет только изучить то, что есть».

Критик боится стать «догматиком» или выставить догматические положения. Конечно, этим бы он стал противоположностью критика, догматиком. Он сделался бы, насколько он был хорош как критик, дурным, или из бескорыстного стал бы эгоистом и т. д. «Все, кроме

догматизма!» — вот его догмат, ибо критик остается на одной и той же почве с догматиком, на почве мысли. Подобно последнему, он всегда исходит из какой-нибудь мысли, но в том разнится от него, что прекращает подвергать принципиальную мысль процессу мышления, то есть не дает ей утвердиться в неподвижности. Он признает только процесс мысли, противопоставляя его вере в мысль, развитие мышления в противоположность неподвижности его. Перед критикой не застрахована ни одна мысль, ибо критика и есть мышление или сам мыслящий дух.

Поэтому я и повторяю, что религиозный мир — а он и есть мир мыслей — достигает своего завершения в критике тем, что мышление идет дальше всякой мысли, и ни одна мысль не смеет утвердиться «эгоистично». Куда бы девалась «чистота критики», чистота мышления, если бы хотя одна мысль уклонилась от процесса мышления? Этим объясняется, что критик даже иногда слегка насмехается над мыслью о человеке, о человечестве и о гуманности, ибо он чувствует, что эта мысль приближается к догматической твердости. Но он не может разрушить эту мысль, пока не найдет «высшей», в которой та растворяется, ибо он движется только в круге — мыслей. Эту высшую мысль можно было бы определить как мысль о движении мышления или как мысль о процессе мышления, то есть как мысль о мышлении или критике.

Свобода мышления доведена этим до полного развития, и торжествует свобода духа, ибо единичные «эгоистичные» мысли потеряли тем самым свою догматическую власть. Ничего не осталось, кроме догмата свободного мышления или критики.

Относительно всего, что принадлежит к миру мышления, критика права, то есть обладает властью, она победительница. Критика, и только критика, «стоит на высоте времени». С точки зрения мысли, нет силы, которая могла бы вознестись над нею, и весело смотреть, с какой легкостью этот дракон, как бы играя, слизывает всех других червей языком мышления. Каждый червяк извивается, но критика сокрушает его во всех «извивах».

Я не противник критики, то есть я не догматик, и зубы критика, которыми он раздирает догматика, меня не ранят. Если бы я был догматиком, я бы выше всего поставил догмат, какую-нибудь мысль, идею, принцип и завершил бы это, как «систематик», тем, что воздвиг бы систему, строй мыслей. Если бы я был, напротив, критик, то есть противник догматика, то я вел бы борьбу за свободное мышление против порабощающей мысли, защищал бы мышление против уже продуманного. Но я не борец за какую-нибудь мысль или за мышление, ибо Я, из которого я исхожу, не мысль, и я не заключаюсь в мышлении. На мне, безымянном, раскалывается царство мысли, мышления и духа.

Критика — борьба одержимых против одержимости как таковой, против всякой одержимости, борьба, основанная на сознании, что во всем есть одержимость или, как это называет критик, религиозное и теологическое отношение. Он знает, относятся религиозно или с верой не только к Богу, но и к другим идеям, каковы право, государство, закон и т. д., то есть критик признает всюду одержимость. Таким образом он хочет уничтожить мысли путем мышления, я же говорю, что только бессмыслие действительно спасает меня от мыслей. Не мышление, а отсутствие мыслей, или я, непонятный, невообразимый, высвобождаю себя от одержимости.

Энергичное движение замещает мне самое тщательное обдумывание, разгибание членов сбрасывает муку мысли, прыжок сбрасывает с груди кошмар религиозного мира, ликующий крик сбрасывает многолетнее бремя. Но огромное значение бездумного ликования не могло быть понято среди долгой ночи мышления и веры.

«Как неуклюже и как легкомысленно решать самые трудные проблемы, справляться с самыми обширными задачами только путем пресечения».

Но разве у тебя есть задачи, если ты не ставишь их себе сам? Пока ставишь их себе, ты от них не отстанешь, да я ничего и не имею против того, чтобы ты думал и, думая, создавал тысячи мыслей. Но если ты сам поставил задачи, разве не можешь снова опрокинуть их? Разве ты не должен быть связан этими задачами, разве они должны стать абсолютными?

Для примера можно указать на одно: против правительства восстали за то, что оно применяет насилие против мысли, что оно борется со свободой прессы путем полицейской силы — цензуры и превращает литературную борьбу в личную. Но разве речь идет только о мыслях, и разве люди должны быть по отношению к мыслям бескорыстными, самоотверженными и готовыми жертвовать собой? Разве эти мысли не направлены против правящих и не вызывают таким образом эгоизма? И разве мыслящие не выставляют тем, на кого нападают, религиозного требования преклониться перед властью мышления и идей? Они требуют добровольного и покорного подчинения, ввиду того, что божественная сила мышления сражается на стороне их врагов. Это было бы актом одержимости, религиозной жертвой. Правда, правящие находятся сами в религиозных оковах и следуют руководящей силе какой-нибудь идеи или какой-нибудь веры; но они вместе с тем скрытые эгоисты, и как раз относительно врагов и выявляется их сдерживавшийся эгоизм. Одержимые в своей вере, они, однако, не одержимы верой своих противников, то есть они эгоисты по отношению к ним. Если уж их упрекать, то как раз в противоположном — в том, что они одержимы своими идеями.

Никакая эгоистическая власть, никакая полицейская сила не должны выступать против мыслей. Так полагают верующие в мысль. Но мышление и мысли для меня не святы, я оберегаю и от них свою кожу. Быть может, это неразумная оборона, но если я служу разуму, то должен, как Авраам⁴⁸, принести ему в жертву самое любимое.

В царстве мысли, которая, как и царство веры, и есть небесное царство, неправ всякий, кто пользуется бессмысленной силой, так же как не прав всякий, кто в области любви действует бессердечно, или, хотя он и христианин, то есть живет в царстве любви, все же действует не по-христиански; в этих царствах, обитателем которых он себя мнит, уклоняясь в то же время от их законов, он «грешник», или «эгоист». Но и он может лишь тем уклониться от власти этих царств, что станет преступником относительно них.

Результат и здесь тот, что борьба мыслящих против правительства настолько правая, то есть властная, насколько она ведется против мыслей правительства (правительство умолкает и не может возразить литературно ничего значительного), и напротив, она неправая и бессильная, поскольку в ней действуют только мысли, направленные против личной власти. (Эгоистическая сила зажимает рот мыслящим.) Теоретическая борьба не

может завершить победу, и священная сила мысли подвластна силе эгоизма. Только эгоистическая борьба, борьба эгоистов с двух сторон, все улаживает.

Вот это дело — превращение самого мышления в эгоистический произвол, в дело отдельной личности, как бы в пустое препровождение времени, отнимая у него значение «последней решающей власти», это унижение мышления, лишение его святости, это уравнивание бессмысленного и мыслящего «я», это грубое, но реальное «равенство» — критика не может установить, потому что она сама только жрица мышления и за его пределами видит только — потоп...

Критика хотя и утверждает, например, что свободная критика должна восторжествовать над государством, но тоже защищается от упрека со стороны государственных правителей в том, что она «произвол и наглость». Она полагает, что «произвол и наглость» не должны побеждать, что побеждать может только она. На самом деле, наоборот: государство может быть побеждено только наглым произволом.

Теперь, скажем в заключение, становится понятно, что критик в своем новом фазисе вовсе не преобразил себя, а только «исправил оплошность», «разобрался в одном вопросе» и преувеличивает, говоря, что «критика сама себя критикует». Она, или, вернее, он критиковал только свою «оплошность» и очистил критику от ее «непоследовательностей». Если бы он хотел критиковать критику, то должен был посмотреть, есть ли что-нибудь в предположении ее.

Я, со своей стороны, выхожу из определенного предположения тем, что предполагаю себя. Но мое предположение не борется за свое завершение, как «борющийся за свое завершение человек»: мне оно служит лишь для того, чтобы пользоваться им и потреблять его. Я питаюсь только моим предположением и существую лишь поскольку питаюсь им. Но поэтому-то это предположение никакое: так как я — единственный, то ничего не знаю о двойственности «я» предполагающего и «я» предположенного («несовершенного» и «совершенного» «я», или человека); я только знаю, что питаться собой — значит быть собой. Я не предполагаю себя, потому что ежеминутно утверждаю и создаю себя, и только тем становлюсь «я», что не предположен, а установлен, и опять-таки в тот момент, когда устанавливаю себя, то есть я одновременно и творец, и создание.

Если все предшествующие предположения абсолютно должны разрушиться, то не следует их снова собирать в высшее предположение — в мысли или в само мышление, в критику. Разрушение это ведь должно послужить на пользу мне, иначе оно относилось бы к бесконечному ряду разрушений, которые на благо других — например человека, Бога, государства, чистой морали и т. д.— объявляли старые истины не истинами и уничтожали долго существовавшие предположения.

Версия #1

Зверобой создал 1 апреля 2025 20:20:01

Зверобой обновил 1 апреля 2025 20:25:19